

<«...У Керенского две души: одна — душа главы правительства и патриота, а другая — социалиста и идеалиста»>

1917.

<...> Керенский был единственным министром, личность которого, хотя и не вполне симпатичная, заключала в себе нечто останавливающее внимание и импонирующее. В качестве оратора он обладал гипнотизирующей силой, очаровывавшей аудиторию, и в первые дни революции он непрерывно старался сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриотического пыла. Однако, защищая продолжение войны до конца, он отвергал всякую мысль о завоеваниях, и тогда как Милюков говорил о приобретении Константинополя, как об одной из целей России в войне, он энергично отрекался от солидарности с ним. Благодаря своему уменью владеть массами, личному влиянию на товарищей по правительству и отсутствию сколько-нибудь способных соперников, Керенский был единственным человеком, от которого мы могли ожидать, что он сумеет удержать Россию в войне. <...>

9 апреля.

<...> Керенский, с которым у меня был вчера длинный разговор, не сочувствует мысли о применении в настоящее время энергичных мер против Совета или против социалистической пропаганды в армии. В ответ на мое указание, что правительство никогда не станет хозяином положения, пока будет допускать, чтобы им командовала соперничающая организация, он сказал, что Совет умрет естественной смертью, что настоящая агитация в армии прекратится и что армия тогда окажется более способной помочь союзникам выиграть войну, чем это было при старом режиме.

Россия, — заявил он, — готова поддерживать войну, которую он назвал защитительной, в противоположность войне завоевательной, хотя стратегическое наступление может оказаться необходимым для обеспечения целей этой войны. Участие в войне двух великих демократий может в конце концов заставить союзников изменить свое представление об условиях мира, и он говорил, как об идеальном мире, о таком, «который обеспечил бы право самоопределения для каждой нации». Я сказал ему, что наш ответ на ноту президента Вильсона показал, что мы воюем не ради завоеваний, но в защиту принципов, которым должна сочувствовать русская демократия. Вопрос о том, считать ли действительным соглашение относительно Константинополя, — вопрос, по которому он и Милюков держатся столь противоположных взглядов, — должна решить сама Россия. Затем Керенский говорил о своих надеждах на то, что русские социалисты окажут влияние на германских социал-демократов, утверждая, что Россия ввела в войну новую силу, которая, воздействуя на внутреннее положение Германии, может принести нам прочный мир. Однако он соглашался с тем, что если эти надежды окажутся ложными, то нам придется воевать до тех пор, пока Германия не уступит воле Европы. <...>

7 мая.

<...> Новое коалиционное правительство, как я уже телеграфировал, представляет для нас последнюю и почти единственную надежду на спасение военного положения на этом фронте. Керенский, принявший на себя обязанности военного и морского министра, не есть идеальный военный министр, но он надеется, что, отправившись на фронт и обратившись с страстным призывом к патриотизму солдат, он сможет гальванизировать армию и вдохнуть в нее новую жизнь. Он — единственный человек, который может сделать все, если это вообще возможно, но его работа будет чрезвычайно трудной. Русский солдат сегодняшнего дня не понимает, за что или за кого он воюет. Прежде он был готов положить свою жизнь за царя, который в его глазах олицетворяет Россию, но теперь, когда царя нет, Россия для него не означает ничего, помимо его собственной деревни. Керенский начал с того, что заявил армии, что он намерен восстановить строжайшую дисциплину, настоять на исполнении своих приказаний и наказать всех неповинующихся. Сегодня он обошел казармы, а завтра выезжает на фронт, чтобы подготовить предстоящее наступление. <...>

11 августа.

<...> Сегодня я встретил Керенского за завтраком, который давал Терещенко. Во время нашей беседы я сказал, что очень удручен тем обстоятельством, что к общему положению, как кажется, все относятся исключительно с партийной точки зрения и что политические соображения берут перевес над требованиями войны. Ссылаясь затем на обращенную к нам просьбу Корнилова о дальнейшей доставке артиллерии, я заметил, что мы были свидетелями того, как первоначальный успех июльского наступления превратился в бегство вследствие отсутствия дисциплины, и что наша военная власть вряд ли согласится исполнить упомянутую просьбу, если не получит уверенности, что Корнилов будет наделен всей полнотой власти для восстановления дисциплины. Я прибавил, что уверенность моего правительства возросла бы, если бы я мог уведомить его, что Петроград включен в фронтовую полосу и что в нем введено военное положение. Керенский заявил, что правительство решило поддержать порядок, и сказал несколько вспыльчиво, что если мы намерены торговаться насчет артиллерии и не хотим помогать России, то нам лучше сказать это сразу. Я сказал, что он неправильно меня понял, что мы всячески хотим помочь России, но не будет ничего хорошего в том, что мы пошлем ей на фронт артиллерию, если последнюю захватят германцы. Мы нуждаемся в каждой пушке, которая может быть доставлена на наш собственный фронт, и, пуская эти пушки в ход, мы окажем действительную помощь России. <...>

3 сентября.

<...> Керенский увлекался общими местами. Он не рассказал аудитории ни о том, что он сделал в прошлом, ни о том, что он предполагает сделать в будущем. Ни он, ни кто-либо другой из партийных вождей не сделали никаких конкретных предложений, за исключением Чхеидзе, председателя Совета.

Выражая готовность оказывать поддержку правительству, они делали это условно и с оговорками и не выказали ни малейшего желания остановить свои разногласия или принести в жертву свои классовые интересы. Курьезно, что все они, по-видимому, приписывают себе успех на Совещании¹, но ни один не сходится с другим по вопросу о том, чего в действительности оно достигло. Однако в общем правительство, как целое, укрепило свое положение, и хотя никакой резолюции не было принято, но оно действительно обладает

теперь всей полнотой власти, чтобы справиться с положением, если только оно захочет ею воспользоваться.

С другой стороны, Керенский лично потерял почву и произвел определенно дурное впечатление своей манерой председательствования на Совещании и автократическим тоном своих речей. Согласно всем отчетам, он был очень нервен; но было ли это вызвано переутомлением или соперничеством, несомненно, существующим между ним и Корниловым, — трудно сказать. Корнилов — гораздо более сильный человек, чем Керенский; если бы он смог укрепить свое влияние в армии, если бы последняя стала крепкой боевой силой, то он стал бы господином положения. Я слышал из разных источников, что Керенский старался всеми силами не допустить, чтобы Корнилов выступал на конференции, и хотя он был вынужден силой обстоятельств уступить всем требованиям генерала, однако он, очевидно, видит в нем опасного соперника. Родзянко и его правые друзья, с своей стороны, компрометировали Корнилова, выдвигая его вперед как своего передового борца, тогда как социалисты ввиду этого заняли по отношению к нему враждебную позицию и приветствовали Керенского.

Сверх того, поведение Корнилова едва ли было рассчитано на то, чтобы усыпить подозрение, с которым на него смотрит Керенский. Он устроил драматический въезд в Москву, окружив себя туркменской стражей, и прежде чем явиться на конференцию, посетил мощи в Успенском соборе, где всегда молился император, когда приезжал в Москву. Керенский же, у которого за последнее время несколько вскружилась голова и которого в насмешку прозвали «маленьким Наполеоном», старался изо всех сил усвоить себе свою новую роль, принимая некоторые позы, излюбленные Наполеоном, заставив стоять возле себя в течение всего Совещания двух своих адъютантов². Керенский и Корнилов, мне кажется, не очень любят друг друга, но наша главная гарантия заключается в том, что ни один из них, по крайней мере, в настоящее время, не может обойтись без другого. Керенский не может рассчитывать на восстановление военной мощи без Корнилова, который представляет собой единственного человека, способного взять в свои руки армию. В то же время Корнилов не может обойтись без Керенского, который, несмотря на свою убывающую популярность, представляет собою человека, который с наилучшим успехом может говорить с массами и заставить их согласиться с энергичными мерами, которые должны быть проведены в тылу, если армии придется проделать четвертую зимнюю кампанию. <...>

В разговоре, происходившем у меня в Лондоне в 1918 г. с Керенским, последний в ответ на мой вопрос о его отношении к Корнилову сказал, что он всегда смотрел на него, как на патриота и честного человека, но очень плохого политика. Он уступил всем требованиям Корнилова в отношении смертной казни и включения Петрограда в фронтовую полосу, но он не мог допустить, чтобы он распоряжался местопребыванием правительства, так как в таком случае министры были бы отданы на произвол Корнилову. Поэтому он послал Савинкова в ставку с целью попытаться выработать с ним практическое соглашение. Он знал, что Завойко, Аладьиным и другими лицами из числа окружавших Корнилова был организован заговор, имевший целью свержение правительства, и всего дней за десять до окончательного разрыва он предупреждал Корнилова, что тот не должен проявлять излишней торопливости, а должен дать правительству время для постепенного обнародования дисциплинарных мероприятий, на которых он настаивал. Он даже спросил его, предполагает ли он установить военную диктатуру, и Корнилов ответил: «Да, если на то будет Господня воля». Он, Керенский, определенным образом условился о том, чтобы кавказская дивизия, известная под именем «дикой дивизии», не была включена в число войск, предназначенных к отправке в Петроград, и чтобы эти войска не были отданы под командование ген. Крымова; но, несмотря на это, Корнилов назначил Крымова командующим и послал вместе с ним «дикую дивизию». Хотя он имел разговор с Львовым³ перед отъездом последнего в ставку, но он не давал ему никакого поручения; и в телеграфном разговоре, который он имел с Корниловым по возвращении Львова, он поставил первому вопрос совершенно ясно, в выражениях, не допускавших недоразумения, и получил утвердительный ответ. Так как он знал, что войска Крымова уже достигли Луги и что в Петрограде подготовлено восстание, которое должно было вспыхнуть, как только он выедет в ставку, то у него не было никакого иного выхода, кроме объявления Корнилова изменником. <...>

12 сентября.

<...> О тайне этого контрреволюционного движения знало столько лиц, что оно перестало быть тайным. Керенский знал о нем, так что, когда Львов передал ему то, что было истолковано, хотя и совершенно неправильно, как ультиматум Корнилова, то он уже был настроен подозрительно и был предубежден против

Корнилова. Хотя Керенский, несомненно, считал его опасным соперником, который, получив однажды власть над армией, мог бы использовать ее против правительства, однако я не думаю, чтобы он намеренно подставил ловушку Корнилову с целью убрать его с дороги. Однако и за его спиной, как и за спиной Корнилова, стояли дурные советчики, которые ради личных или партийных побуждений подстрекали его удалить Верховного главнокомандующего. Что он еще колебался сделать это, показывает то обстоятельство, что в телеграфном своем разговоре с Корниловым он обещал приехать в ставку, и только Некрасов окончательно убедил его объявить Корнилова изменником. Вся его политика была слабой и колеблющейся. Страх перед Советом, по-видимому, парализовал всякий его шаг. После июльского восстания ему представлялся случай подавить большевиков раз навсегда, но он отказался им воспользоваться, а теперь, вместо того, чтобы постараться прийти к соглашению с Корниловым, он уволил в отставку единственного сильного человека, способного восстановить дисциплину в армии. Кроме того, в целях защиты революции, которая всегда у него была на первом плане, он сделал дальнейшую ошибку, вооружив рабочих, и прямо сыграл таким образом в руку большевикам. В письме в Министерство иностранных дел от 21 сентября я говорил: «Как сказал мне вчера один известный иностранный государственный деятель, у Керенского две души: одна — душа главы правительства и патриота, а другая — социалиста и идеалиста. Пока он находится под влиянием первой, — он издает приказы о строгих мерах и говорит об установлении железной дисциплины, но как только он начинает прислушиваться к внушениям второй, его охватывает паралич, и он допускает, чтобы его приказы оставались мертвой буквой. Боюсь, кроме того, что, подобно Совету, он вовсе не хочет создания сильной армии и что, как он однажды мне заметил, никогда не станет ковать собственными руками оружие, которое может быть некогда использовано против революции. <...>

Немедленно после выступления Корнилова я обсуждал со своими коллегами, французским, итальянским и североамериканским, вопрос о том, чтобы сделать русскому правительству коллективное представление по поводу как военного, так и внутреннего положения. На совещании, созванном мною с этой целью, мы выработали текст ноты и условились получить от наших правительств полномочия на представление ее тогда, когда мы сочтем момент для этого удобным. В этой ноте, выразив надежду на то, что в настоящее время, когда опасность гражданской войны предотвращена, правительство

будет в состоянии сосредоточить всю свою энергию на продолжении войны, мы подчеркивали необходимость для правительства реорганизовать все военные и экономические силы России путем решительных мероприятий для поддержания внутреннего порядка, увеличения производительности промышленности, улучшения транспорта и восстановления строгой дисциплины в армии. Так как посол Соединенных Штатов по какой-то необъяснимой причине не получил от своего правительства никаких инструкций, то мои французский и итальянский коллеги и я решили действовать без него, и 9 октября мы были приняты Керенским, Терещенко и Коноваловым (заместителем председателя Совета министров). Я начал с объяснения, что мы получили несколько недель назад инструкции просить приема с целью обсудить вместе с ним положение, но что мы не могли сделать этого вследствие недавнего министерского кризиса. В настоящее же время, когда под его председательством сформировалось новое правительство, мы сочли момент удобным для выполнения наших инструкций, тем более, что это дает нам случай приветствовать его как главу республиканского правительства и принести ему наши искренние поздравления. Затем я в качестве старшины дипломатического корпуса прочел ему нашу коллективную ноту.

Керенский отвечал по-русски, а Терещенко переводил сказанное им на французский язык фразу за фразой. Он начал с того, что заявил нам, что он сделает все, что может, чтобы предупредить ложное толкование, которое могут дать другие сообщению только что нами ему прочитанному. «Настоящая война, — продолжал он, — является войной народов, а не правительств, и русский народ знает, что он принес несказанные жертвы. Царский режим оставил страну в плачевном состоянии дезорганизации, и было бы лучше, если бы союзники в свое время выказывали меньше уважения к чувствам царского правительства и чаще призывали бы его к ответу за его грехи. Кроме того, они были плохо осведомлены и после революции колебались, продолжать ли им доставку военного снабжения России. Между союзниками, — продолжал он, — должно существовать полнейшее единение, их интересы одни и те же, и отпадение одного из них будет одинаково фатально для всех. Необходимо постоянство в политике; несмотря на все свои затруднения, Россия решила продолжать войну до конца». Вечером он уезжает на фронт с целью немедленно же начать работу по реорганизации армии. В заключение он напомнил нам, что Россия все еще — великая держава.

Едва Терещенко кончил перевод последней фразы, Керенский встал и сделал знак рукой, показывающий, что наш прием закончился. Он торопливо пожал нам руки и направился к выходу. Так как мне надо было передать ему некоторые документы, то я последовал за ним и, объяснив их содержание, я сказал, что я хотел бы дать ему понять, что наше выступление внушено исключительно желанием укрепить его положение. Керенский всегда был страстным любителем театральных эффектов и, очевидно, хотел показать свое неудовольствие наполеоновской манерой, с которой он с нами простился. Когда я после того заметил Терещенко, что Керенскому незачем обращаться с союзными послами так по-кавалерийски, он сказал, что Керенскому было досадно, что мы делаем такие представления как раз в тот момент, когда он делал все возможное, чтобы исполнить наши желания. Он сказал мне далее, что Керенский немедленно после нашего приема посетил посла Соединенных Штатов и благодарил его за то, что он не был вместе с нами. < ... >

25 октября.

<...> Выражая удовлетворение проектированной нами диверсией в Немецком море, Керенский не скрывал своего разочарования. Он лично, сказал он, понимает наше положение, но трудно объяснить его все возрастающему числу лиц, которые постоянно жалуются, что союзники повернулись к России спиной. В некоторых кругах даже опасаются, что союзники замышляют заключить мир за счет России. Я ответил, что мы уже категорически отвергли это обвинение и что он может быть уверен, что мы никогда не покинем России, если сама она не отречется первая от себя. Заключить мир за ее счет было бы самоубийством с нашей стороны. Однако едва ли можно ожидать, что мы будем доставлять ей большое количество военного снабжения, пока мы не будем иметь некоторой гарантии того, что русская армия использует его целесообразно. В ответ на выраженное им опасение, что как в Англии, так и во Франции сильно раздражены против России, я сказал, что хотя британское общество готово оценить затруднения последней, однако вполне естественно, что после падения Риги оно должно было оставить всякую надежду на то, что Россия будет принимать в дальнейшем активное участие в войне. Кроме того, некоторое раздражение, которое, быть может, оно чувствует, вызвано тем обстоятельством, что русскую армию с легким сердцем разрушают в качестве боевой силы те, кто боится, что она может быть использована против революции. Керенский

возразил, что не будь выступления Корнилова, дисциплина была бы уже в значительной мере восстановлена, но что теперь всю работу восстановления приходится начинать сначала. Я сказал, что мы высоко оцениваем усилия, которые он делает для того, чтобы вдохнуть жизнь в армию, и я верю, что он может еще добиться успеха. Однако уже не остается времени для полумер, и железная дисциплина, о которой он так часто говорил, должна быть установлена во что бы то ни стало. Большевизм является источником всех зол, от которых страдает Россия, и если бы он только вырвал его с корнем, то он перешел бы в историю не только в качестве вождя революции, но и в качестве спасителя своей страны. Керенский признавал справедливость высказанного мною, но заявил, что он может это сделать только в том случае, если большевики сами вызовут вмешательство правительства путем вооруженного восстания. Так как он прибавил, что они, вероятно, устроят восстание в течение ближайших пяти недель, то я выразил надежду, что он на этот раз не упустит случая, как это он сделал в июле». <...>

Правительство Керенского пало, подобно царизму, без борьбы. И император, и Керенский намеренно закрывали глаза на угрожавшие им опасности, и оба допустили, чтобы положение вышло из-под их контроля, прежде чем приняли какие бы то ни было меры для своей собственной защиты. Император согласился даровать конституцию только после того, как его час уже пробил, и когда, выражаясь словами телеграммы Родзянко, было уже слишком поздно. То же самое было и с Керенским. Он выжидал и мешкал. Когда же наконец он настроился действовать, то оказалось, что большевики обеспечили себе поддержку гарнизона и что не им, а ему предстоит быть раздавленным. Если бы я должен был написать эпитафии царизму и Временному правительству, я написал бы два слова: потерянные возможности.

С самого начала Керенский был центральной фигурой революционной драмы и единственный среди своих коллег пользовался явной поддержкой со стороны масс. Будучи горячим патриотом, он хотел, чтобы Россия продолжала войну, пока не будет достигнут демократический мир. В то же время он хотел бороться с силами, создающими беспорядок и разруху, не желая, чтобы его страна сделалась добычей анархии. В первые дни революции он выказывал энергию и мужество, отмечавшие его как единственного человека, способного обеспечить достижение этих целей. Но он не делал того, о чем говорил, и всякий раз, когда наступал кризис, он не умел воспользоваться случаем. Как доказали последующие события,

он был человеком слова, а не дела. Ему представлялись благоприятные возможности, но он никогда не использовал их. Он всегда готовился нанести удар, но никогда не наносил его. Он думал больше о спасении революции, чем о спасении своей родины, и кончил тем, что дал погибнуть и той и другой. Но хотя в качестве главы правительства, наделенного всей полнотой власти, которую он так печально использовал, он должен нести главную ответственность за выдачу России большевикам, другие партийные вожди также не могут быть оправданы. Умеренные социалисты, кадеты и другие не социалистические группы, — все они внесли свою долю в дело окончательной катастрофы, ибо в течение кризиса, взывавшего к их тесному сотрудничеству, они не сумели оставить свои партийные разногласия и со всей искренностью работать сообща ради спасения своей родины.

Социалисты, одержимые страхом перед контрреволюцией, боялись принимать меры, которые одни только и могли сделать армию действительно боевой силой. С другой стороны, кадеты настаивали, и вполне справедливо, на восстановлении дисциплины в армии и на поддержании порядка в тылу. Но вместо того, чтобы попытаться корректностью своего поведения убедить социалистов в том, что последним нечего бояться дисциплинированной армии, они сошли с этого пути и создали впечатление, что они тайно работают в пользу контрреволюции, в которой армия должна сыграть главную роль. К несчастью, партийные страсти слишком разгорелись для того, чтобы возможно было их обдуманное коллективное выступление против общего врага. Неспособность русских к дружной совместной работе даже тогда, когда на карте стоит судьба их родины, достигает степени почти национального дефекта. Как сказал мне однажды один из русских государственных деятелей, когда дюжина русских собирается за столом для обсуждения какого-нибудь важного вопроса, то они будут говорить целыми часами, не приходя ни к какому решению, а в заключение рассорятся друг с другом. Единственным членом правительства, который все время старался, но безуспешно, держать своих коллег на правильном пути и побуждал их вести твердую, устойчивую политику, был Терещенко. Не принадлежа ни к какой партии, он думал только о своей родине; однако под влиянием своей несчастной веры в Керенского он держался слишком оптимистических взглядов на положение, а иногда внушал их и мне. Только тогда, когда уже было слишком поздно, он понял, как слаб тот тростник, на который вздумал опираться его любимый вождь.

С другой стороны, большевики составляли компактное меньшинство решительных людей, которые знали, чего они хотели и как этого достигнуть. Кроме того, на их стороне было превосходство ума, а с помощью своих германских покровителей они проявили организационный талант, которого у них сначала не предполагали. Как ни велико мое отвращение к их террористическим методам и как ни оплакиваю я разрушение и нищету, в которую они ввергли свою страну, однако я охотно соглашаюсь с тем, что и Ленин, и Троцкий — необыкновенные люди. Министры, в руки которых Россия отдала свою судьбу, оказались все слабыми и неспособными, а теперь, в силу какого-то жестокого поворота судьбы, единственные два действительно сильные человека, которых она создала в течение войны, были предназначены для того, чтобы довершить ее разорение. Однако когда они пришли к власти, то они были еще неизвестными величинами, и никто не ожидал, что они долго продержатся на своих постах.

